



...я из воды вынула его.

*Ветхий Завет.*

*Исх. 2:10*



Они стояли по колено в болоте. Черная вода кругом, холодно, стыло, хоть и лето. Где-то вдалеке слышалась немецкая речь. Их искали. Выйти в деревню, схорониться не было никакой возможности — только замереть и не двигаться. Заморосил дождь. Вода теперь была везде.

Ребенок недовольно морщился и жадно искал грудь. Не найдя молока, отворачивал голову и снова начинал всхлипывать. Она еще крепче прижала его к себе и испуганно взглянула на крупнотелую рябую бабу. Та нажевала хлебных крошек в грязную тряпицу и сунула ребенку: он засосал и на какое-то время успокоился. Время шло. Она чувствовала на себе напряженные взгляды. Баба снова и снова начинала что-то неслышно говорить, но быстро умолкала и отводила глаза. Вскоре ребенок окончательно проснулся и начал кряхтеть. Она понимала — он вот-вот раскричится и, как знать, — удастся ли его быстро успокоить? Вдруг послышалось: «Партизайнен, выходи!»

Ребенок слабо запищал — она крепко прижала его к себе, поплотней укутала в одеяльце и стала трясти. Ребенок не унимался, кряхтел все сильнее и сильнее. Старик, седой, но еще крепкий, жилистый, навис над ней, протянул ручищи:

— Дай покачаю.

Но что-то злобное было в его взгляде.

— Нет! Я сама, сама смогу. Сейчас уснет.

Баба прошептала:

— Дай я возьму, ты ж устала, бедная. У меня успокоится, я большая, теплая.

Дрожащими от напряжения руками она протянула ребенка бабе — на ее большую уютную грудь. Баба быстро глянула на старика и, отвернувшись, наклонилась вниз, к воде.

— Что ты делаешь? Что?

Она хотела броситься к бабе, но старик опередил: схватил и зажал рот крепкой мозолистой рукой, пахнувшей тиной:

— Все через него погибнем, дура! Оставь!

Она из последних, непонятно откуда взявшихся, сил оттолкнула старика. В воде, все еще укутанный в тряпки, лежал ребенок. Безжизненное, бледное лицо его было скрыто водой. Она схватила ребенка, перевернула вниз головой и затрясла. Никто не учил ее, она сама знала, чувствовала, как надо.

## ГЛАВА 1

**М**не позвонили не вовремя. Сложно было подобрать более неудачный момент. Я была с Джоном. Он стоял с чемоданом. Уходил навсегда.

— Подождите, я не могу говорить.

Но голос возразил:

— Это не может ждать. Вы должны приехать.

— Что с ней? Она умирает?

— Она умерла.

Хлопнула дверь — Джон ушел. Ба умерла. Я осталась одна.

Я стояла у окна и смотрела, как Джон болтает с нашей соседкой снизу, грузит вещи в машину и, помигав поворотником, уезжает в свою квартиру где-то в Латинском квартале, где его ждет новая жизнь. Все было нереальным. Я не могла поверить, что происходящее со мной — правда. Все во мне вопило: это несправедливо! Мне захотелось завернуться в свое горе. Жалеть и жалеть себя. Никого не видеть. Я в бессилии упала на кровать, которую мы покупали вместе с Джоном, и почувствовала,

что не могу больше оставаться здесь, среди воспоминаний о нашей счастливой жизни. Все здесь было связано с Джоном, переполнено им. Постель все еще хранила его запах. Аромат его кожи и геля для душа, который я ему подарила на прошлое Рождество. На тумбочке валялся журнал, который Джон читал еще вчера. Мы уже давно не разговаривали. И еще дольше не занимались любовью. Джон забыл зарядку от телефона. Или оставил ее как ненужную. Как и ненужную меня.

Я схватила ноутбук и парой кликов купила билет в Москву. К Ба. Я не хотела ехать. Она была и навсегда теперь останется чужой. Я не выбирала удобное для меня время вылета (не слишком раннее и не слишком позднее), как это делала обычно. Первый попавшийся рейс, на который я могла успеть.

Чемодан, случайные вещи. Да, нужно взять что-то черное. Рюмка коньяку, чтобы унять нервы, такси. Я совсем не думала о Ба. Все еще надеялась, что Джон позвонит, что мы еще сможем все обсудить и исправить. Звук его чуть хриплого голоса — и, честное слово, я сдала бы билет: Ба все равно уже умерла, а я — живая. Я хочу жить, хочу, чтобы он по-прежнему любил меня.

Паспортный контроль Шарль-де-Голля — и вот уже роскошные бутики в дьюти фри манят своими витринами. Новые коллекции, бездушные манекены. В другой ситуации я бы обязательно побалова-

ла себя новым парфюмом. Тушью, которая увеличивает и удлиняет, очередным тональным кремом в попытке замазать морщины и синие от недосыпа круги. В последний год, когда все рушилось, косметические ухищрения, пусть даже в тесном соседстве с антидепрессантами и снотворным, оказались бесполезными. Покупки переросли в манию. Я транжирила все больше, но становилась все несчастнее.

Мне нет сорока. В глазах других я, несомненно, успешна, работаю в международном рекламном агентстве с офисом на Елисейских Полях, говорю на шести языках, каждые два-три года меня ждет повышение. У меня отдельный кабинет с видом, полеты бизнес-классом, интересные командировки по всему миру. Предсказуемое бизнес-окружение, где все играют по одним и тем же правилам. И если ты их понял, ты — свой и все у тебя будет отлично. Я поняла. Я — умница. Я красива, слежу за собой: три раза в неделю изнуряю себя спортом под придирчивым надзором персонального тренера, регулярные маникюр и эпиляция, массаж, косметолог. И, разумеется, депрессия. Об этом никто не рассказывает, но отчаяние и успешность частенько идут рука об руку. Чем более благополучным кажется человек — тем большая бездна неуверенности в себе и безысходности таится под его сияющей оболочкой. Такое вот «логичное» комбо.

В самолете где-то надрывно кричал младенец, уставшие от полета дети шумно бегали по проходу. Черт вас всех подери! Я стала задыхаться, сделалось нестерпимо душно. Куда лечу? Зачем? Ведь можно было сослаться на срочную работу, да мало ли на что. Я никому там не нужна — она уже умерла!

Стюардессы улыбались, носили еду, предлагали вино. Я ничего не хотела. Старалась следить за дыханием: глубокий вдох — медленный выдох. Это всего лишь паническая атака, Лиза, с тобой ничего не случится, нужно только дышать. Дыши — и скоро все закончится. Я стала судорожно листать журналы, пытаюсь хоть как-то отвлечься. Счастливые улыбающиеся люди, наслаждающиеся жизнью, белоснежный песок, безупречно сидящая одежда. И дети. Снова дети. Девочка, похожая на Софию. Не думай сейчас про Софию, дыши, нужно дышать. Глубокий вдох.

Мята! Конечно же. Я достала из сумочки пакетик мятного чая, который всегда носила с собой, и попросила заварить его. Этот запах почему-то всегда успокаивал меня. Не знаю почему — какая-то магия. Джон всегда смеялся над этим. Джон...

Самолет стал заходить на посадку в Шереметьево, показались огни расползающегося во все стороны чужого города, комка энергии, готового поглотить меня. Города, где меня больше никто не ждал.

Я приезжала к ней всего раз, в далеком детстве. Тем летом Маша в очередной раз выходила замуж. Маша — моя мать, я всегда называла ее по имени — ей так нравилось. Мне было, кажется, лет десять — «совок» только что развалился. Мы тогда жили в Тель-Авиве. Машин будущий муж предложил ей провести медовый месяц где-то в Италии, а я, разумеется, в эти планы не входила — у нас с будущим отчимом что-то не складывалось. Впрочем, и с Машей у них не сложилось — он не держался и пары лет.

Помню, меня удивило, когда Маша заговорила о Москве — она никогда не стремилась на родину и не любила о ней говорить. Маша была безалаберной матерью — мне часто приходилось заботиться о себе самой, особенно когда она не ночевала по несколько дней дома. Ей проще было бы оставить меня одну или спихнуть на кого-то из подруг, но Маша почему-то приняла решение отвезти меня к бабушке. К Ба, как я вскоре стала называть ее.

Помню, как при встрече Ба крепко прижала меня к себе. Мне стало неловко. Я не привыкла к объятиям, особенно чужого человека. Я представляла ее седой старухой с клюкой, а она оказалась худощавой и довольно-таки красивой женщиной. Маша почти не разговаривала с Ба — обменялись новостями про общих знакомых, что

да как изменилось в Москве. Говорила в основном Ба, а Маша напряженно молчала, хотя я знала ее всегда веселой, любящей болтать, петь с гостями — этакой фонтанирующей энергией дивой, по-другому и не скажешь. А вот рядом с Ба Маша была совсем другой. Неузнаваемой.

Сели обедать. Ба что-то говорила, вспоминала о приятелях, одноклассниках Маши, спрашивала что-то у меня. А я сидела как окаменелая, ожидая неотвратимого момента, когда Маша уедет. Я боялась Ба — не зря же Маша ее недолюбливала, что-то же произошло между ними?

Маша, не закончив обедать, схватила телефон — и вот уже красила губы в коридоре: приду поздно, не ждите. Я стала умолять: «Можно мне, пожалуйста, с тобой? Пож-а-а-алуйста!» Но Маша небрежно пожала плечами: «Тебе там будет неинтересно — взрослая компания» — и захлопнула дверь. Очередную дверь перед моим носом. Мне бы привыкнуть, но тогда я все еще по-детски надеялась на чудо. Она вернулась, как и обещала, очень поздно, под утро, и в тот же день улетила обратно, выходить замуж. Виноватые глаза — и улыбка, но уже в такси.

А Ба, как выяснилось, спланировала походы по музеям, парки, развлечения. Она говорила и говорила, воодушевленная, словно не замечая моего молчания. Или, может быть, действительно не замечала?

Ей было любопытно все: и как я учусь, и как зовут моих подружек, и что мне нравится делать. Я никогда не чувствовала к себе такого интереса со стороны взрослого, и меня прорвало — я заговорила. Ба серьезно выслушивала все мои рассуждения, жалобы, размышления о школе, пересказы моих ночных кошмаров, ссор с подружками. Узнав, что я люблю рисовать, Ба потащила меня в магазин для художников, где накупила мне кучу всего: корбочек пастели, наборов карандашей, кисточек и акварельных красок. Сейчас я понимаю, что все это тогда стоило целое состояние, но Ба не скупилась. Она восхищалась мной, считала, что у меня настоящий талант.

Каждое утро Ба пекла мне блины (чего никогда не делала Маша, любившая поспать), лепила вареники или пельмени на обед, варила самый вкусный на свете борщ. А на мой день рождения (Маша забыла, кстати, меня поздравить) испекла «Наполеон».

Ба терпеливо учила меня точить карандаши, пришивать пуговицы, делать маникюр, правильно причесывать волосы, чистить зубы — выяснилось, что я ничего этого толком не умела. Все делала тят-ляп, как беспризорница. Я удивилась: почему же Маша не привозила меня к ней раньше? Но Ба пожала плечами. Я была слишком мала, чтобы спросить: «Что между вами произошло?» Хотя не уверена, что получила бы честный ответ...

Я хорошо говорила по-русски, ведь Маша крутилась в среде русскоязычных эмигрантов, да и моими друзьями были сплошь дети выходцев из СССР. Но читала я все-таки плохо, и словарного запаса мне не доставало — да и откуда ему было взяться. Ба мгновенно подобрала «соответствующую моему развитию литературу», каждый день заставляла читать не менее двадцати страниц и пересказывать содержание. Именно благодаря Ба я сегодня по-настоящему хорошо знаю русский язык, и ей я обязана несколькими карьерными повышениями.

Мне было так хорошо в Москве, что я стала размышлять: зачем возвращаться в Тель-Авив, к Маше, которой я, очевидно, не нужна, если есть Ба, которая меня обожает и так заботится?

Маша вернулась за мной через месяц. Прибежав после встречи с кем-то из своих обогатившихся бандитов-одноклассников подшофе, она паковала в свой клетчатый тряпичный чемодан московские сувениры и щебетала о своем счастливом медовом месяце на Капри. Я помню, что она была незагоревшей, совсем бледной. И мне подумалось, что Маша со своим новым мужем наверняка круглосуточно занималась сексом и не видела никакой Италии, все она привирает. Да, я тогда уже знала о сексе — как не знать при таком количестве Машиных любовников.

Набравшись смелости, я проямлила: «Можно мне остаться с Ба?» Я была уверена, что Маша за-

дохнется от счастья и, конечно же, согласится — ведь она постоянно ныла всем подряд, как ей со мной тяжело (со мной-то? — возмущаюсь я спустя годы, но тогда безоговорочно верила, что была самым ужасным ребенком на свете). Помню, мой вопрос поразил Машу — вскочила, швырнула что-то в чемодан и стала буквально верещать. Что я думаю только о себе, а бабушке вообще-то нужно работать и заниматься собой, а не неблагодарными соплячками, которые ничего не понимают. Что-то в этом роде, я уже не помню дословно. Бросила вещи неупакованными и снова умчалась куда-то, громко хлопнув дверью. Даже губы в тот раз не накрasila.

Машина реакция, такая неожиданная и странная, меня ошеломила. Но я решила все-таки не сдаваться и спросить Ба. Конечно, я должна была сначала пойти к ней, а потом уже договариваться с Машей. Это сейчас, проработав много лет в корпорации, понимаю такие вещи. А тогда, ребенком, была абсолютно, непоколебимо уверена, что и обсуждать нечего: Ба будет только счастлива, если я останусь. И мы с ней ка-а-к заживем! Но и здесь я промахнулась. Ба грустно покачала головой и ответила, что, конечно же, Маша права — в Израиле мне будет лучше и что остаться никак нельзя. Я не могла поверить. Эти слова, несмотря на печаль, которая прозвучала в них, стали для меня ударом. Предательством. Словно

Ба сделала мне дорогой подарок, а потом цинично отняла его у меня. Не знаю, словно вручила мне щенка на день рождения и на моих же глазах задушила его. Такое я почувствовала разочарование и горе.

Был аэропорт, слезы. Плакала я, плакала Ба. Маша, накачавшись коньяком, молча кривилась и смотрела на часы.

Почему мы с Ба не общались после? Сложно сказать... Мне ведь было всего десять — что я понимала? Сейчас, на взрослую голову, мне кажется, дело было в Маше — я стала ее сообщницей в неприязни к Ба. Когда что-то было не так, Маша шутила: «Отправлю в Москву — вот там тебе покажут, где раки зимуют!» И смеялась. Я смеялась в ответ лишь затем, чтобы понравиться Маше. Чтобы завоевать наконец ее постоянно ускользающую любовь.

Москва. Современный аэропорт. Совсем не тот, серый, советский, откуда мы с Машей улетали тем летом. Ба с красными от слез глазами провожала нас. Как оказалось — навсегда.

Усталые, безразличные лица таможенников и, наоборот, радостные — встречающих. Вспомнился Трентиньян в «Мужчине и женщине». Скорость, озарение, страсть. А может, все сон — и Джон ждет меня там, среди стоящих с табличками и цветами? Улыбнется, обнимет, мы погово-

рим. Найдем решение. И все станет как прежде. Конечно, нет. Дура. Какая же я дура.

С облегчением выбралась из толпы встречающих, табличек, зазывал и устало упала в такси:

— «Мариотт» на Арбате.

Я ведь иногда бывала в Москве, приезжала в командировки, но никогда не звонила Ба: Лиза, в Москве у тебя всегда все расписано по минутам — бизнес-партнеры, бизнес-прогулки по центру, аперитивы. А Ленинский проспект, где живет Ба, — так далеко и неудобно, аж за пределами Садового кольца. И если совсем честно, меня так и не покинуло то детское чувство, что меня предали. Ба меня предала.

Думала ли я о Ба? Нечасто. После той поездки в Москву Ба звонила мне раз в месяц. Разговоры были натужными. Да и Маша театрально фыркала, когда я говорила с Ба, и уходила в другую комнату, откуда, я точно знала, подслушивала меня. Постепенно Ба перестала звонить. Я отправляла Ба стандартную открытку на Новый год. Ба поздравляла меня с днем рождения. Помню, на каком-то обеде Маша мимоходом упомянула: «Мать сама справляется. На здоровье не жалуется. Если что-то будет нужно — нам позвонят мои друзья».

Мы договорились переводить деньги на счет. Я, если честно, выдохнула с облегчением, ведь Ба неизменно приписывала «чувствую себя хорошо», «не болею» и «ничего не нужно, пенсия большая».

Хотя я все равно продолжала присылать деньги, но чувство вины нет-нет да покусывало меня: Ба ведь тебя все-таки любила, а ты... Последние годы она жила с сиделкой, Маша сообщила мне об этом по электронной почте, — я увеличила переводы, вот, собственно, и все.

Джон появился в моей жизни восемь лет назад. Он не задавал болезненных вопросов и во всем поддерживал. С ним я перестала чувствовать себя одинокой. Мое беспризорное, никому не нужное существование наконец закончилось.

Джон... Случайная встреча в агентстве — он заказывал разработку нового бренда, а я уже тогда была креативным директором. Что-то в нем меня зацепило. Сложно объяснить, но я почему-то сразу почувствовала в нем родственную душу, хотя он ничего особенного не делал и не говорил. Словно мы давно знали друг друга. А может, дело в том, что Джон был полной противоположностью моего мужа. Да, я была замужем. Целых два странных года, когда я была несчастлива, объясняя все усталостью и стрессом. Чем угодно, но только не неправильным, случайным мужчиной в моей жизни.

Джон не пытался казаться лучше, чем был, произвести впечатление. Мы встретились в агентстве еще раз. И еще раз — выпить кофе — уже просто так, после работы: обсудить дальнейшие бизнес-планы. Разговоры обо всем и ни о чем. Было уже за полночь, мы говорили, говорили и никак не могли

расстаться. Что-то между нами нарастало. Что-то неуловимое. То, чему мы, как показала жизнь, не смогли противостоять.

Однажды, это произошло через несколько месяцев после нашего знакомства, мы случайно оказались в одном ресторане. Я была со своим мужем, а Джон праздновал там свой день рождения. Я уже поздравила его утром — написала огромное сообщение как можно нейтральнее, — хотя между нами сильно искрило, мы по-прежнему оставались в статусе коллег и не очень близких друзей. Джон приблизился к нашему столику, поздоровался, я познакомила его с мужем и тут же, не выдержав ради приличия паузы, сбежала в туалетную комнату — мне было невыносимо находиться с ними обоими в одном пространстве. Включила воду и смотрела на себя в зеркало, опершись обеими руками о раковину. Мне было плохо. Я ненавидела себя за слабость и навязчивые мысли о Джоне. Говорила себе: дыши, Лиза, дыши, это пройдет, потерпи... Тогда мне еще казалось, что это временно, просто болезнь, которую надо переждать. В этот момент вошел Джон и мягко обнял меня за плечи. Я обернулась и неожиданно для себя поцеловала его. Не знаю, что на меня нашло. Чувства, которые скопились во мне, диктовали, что делать. Мы стояли и целовались, не думая о том, что кто-то мог войти и увидеть нас. Я никогда не изменяла мужу, высокомерно считая, что

измены — для людей легкомысленных и слабых, которые слишком зациклены на сексе или которм нечем заняться. Но с тем поцелуем вдруг куда-то испарились, исчезли вопросы морали и табу. Где-то далеко едва заметной строчкой пронеслось «так нельзя», «ты замужем, давала клятву», «это непорядочно, пошло, стыдно». Но я на удивление легко, без тени сомнений, отмахнулась от всего, что казалось таким очевидным. Происходящее между мной и Джоном мне показалось единственно правильным и честным.

Я прошептала Джону «с днем рождения», и он еще крепче прижал меня к себе. Я почувствовала облегчение, словно что-то переключилось во мне. Словно я снова разрешила себе жить.

На следующий день собрала вещи и ушла. Нет, не к Джону. Пожила у друзей, сняла квартиру на улице Аркад, возле площади Мадлен. Начала обставлять ее — диван, рабочий стол, этажерка для книг. И вдруг поняла, что мне стало легче: без всяких антидепрессантов вернулась радость. Я ходила по магазинам, выбирала тарелки — и улыбалась. Покупала новое одеяло — и получала удовольствие. Завела цветы в горшках, хотя никогда не была «хозяйюшкой». Мне было важно все сделать самой. Одной. Мне не нужны были новые отношения так скоро, потому что я сомневалась: действительно ли мои чувства к Джону настоящие или это просто повод уйти от нелюбимого мужчины?

Мы по-прежнему переписывались с Джоном, он узнал о том, что я ушла от мужа, предлагал встретиться, но я не торопилась.

Прошел месяц. Время еле тянулось. Я поняла, что откладывать нашу встречу бессмысленно: постоянно думала о Джоне, вновь и вновь перечитывала нашу переписку, рассматривала его фотографии в соцсетях, вспоминала наши разговоры, поцелуй. Это превратилось в наваждение, которое мешало мне жить. Не могла спать, не могла сосредоточиться на работе. Все время представляла Джона, видела его в каждом встречном. Что-то неуловимое произошло со мной — мужчины при виде меня оборачивались на улице, делали комплименты, звали на свидание. Но я могла думать только о Джоне. Тогда я решила: «Пусть разочаруюсь в нем, пусть этот дурман наконец пропадет и я стану свободной». Загадала: «Пусть у него будут шторы в цветочек, пошлые меховые тапочки, крошки на столе — что угодно — и все закончится, я вернусь к своей обычной жизни».

Был летний вечер. Начиналась гроза. Я ехала к Джону по безмятежному солнечному городу, а передо мной на фоне темного неба раскинулась радуга, засверкали молнии на фоне почти чернильных туч. Я вот-вот должна была въехать в грозовой фронт, в потоки стремительной безудержной воды, готовые поглотить меня. Странно, но природа полностью отразила то, что вот-вот должно было случиться между нами.

Я слушала по радио «Prends garde, sous mon sein la grenade...»<sup>1</sup> Я понимала, что это совсем не романтическая песня, скорее наоборот. Но именно так я тогда чувствовала: граната под моей грудью, готовая вот-вот разорваться.

Джон встретил меня под ливнем жалкий и мокрый — полчаса ждал у дома и не вернулся за зонтиком, потому что боялся пропустить меня.

Мы поднялись в его квартиру на маленьком лифте. Таким маленьком, что мне пришлось прижаться к стенке, чтобы случайно не дотронуться до Джона. Мое тело вибрировало. Одно прикосновение — и пути назад не будет.

Не было ни штор в цветочек, ни меховых тапочек, ни крошек на столе... Мы разговаривали о разных глупостях, и это было очень естественно, словно мы давно, много лет, были близки. Или в прошлой жизни были любовниками? Мы расположились на его диване в гостиной, наши тела почти касались друг друга. Перебирали книги, что-то обсуждали. Мне захотелось провести так всю ночь. Всю жизнь, бесконечность — кто знает? Вот так, не двигаясь, ощущая близкое тепло его тела. Потом мы курили одну сигарету на двоих. Я смотрела на его губы, на то, как он задумчиво выдыхает дым, и вспоминала наш поцелуй. Спешить было незачем. Джон по-прежнему

---

<sup>1</sup> «Берегись, под моей грудью граната».

му сидел на диване, я положила ему подушку на колени, легла на нее, словно я у психотерапевта, и стала рассказывать смешную историю. Это было непринужденно, словно повторялось уже в тысячный раз. Мне было легко с ним. Мой голос дрогнул. Я сказала: «Обними меня». И он обнял. Его рука показалась мне родной. «Своей». Мне не было непривычно или неловко. Я не открывала для себя Джона — я уже откуда-то знала его. Родилась, создалась для него с этим знанием. Все это время я лежала у него на коленях, рассказывала глупости, мы смеялись. Я гладила его ладонь, изучала его кожу. Наши пальцы переплелись — и все стало понятно. В одно мгновение. В тот же вечер мы занимались сексом. И наш первый раз был прекрасен, безупречен. Мы оба безошибочно угадывали, чувствовали, как надо. Мы открывали друг друга не торопясь, не опасаясь, что этот момент исчезнет. Наша близость, наши отношения сделались неотвратимыми. Джон стал моим кислородом, моей зависимостью, моим всем.

Прошел год. Лучший год в моей жизни. Мы с Джоном не расставались. И вот уже выбор кольца, дизайн нашей квартиры в Шестнадцатом округе Парижа. «Как ты считаешь, стены покрасим бежевым или бледно-серым?» И тогда же я сказала ему, что вторая спальня будет кабинетом или комнатой для гостей, но никогда — детской.

«Зачем нам дети? — убеждала я Джона. — Я — заикленная на себе карьеристка, и это диагноз». Но про себя думала: никогда не смогу стать нормальной матерью — не дано, не те гены. Мой ребенок никогда не получит настоящей материнской любви, потому что я сама не испытала, что это такое. Джон промолчал. Это был наш единственный разговор о детях. Пока не появилась София.

Такси затормозило возле «Мариотта». Широкий проспект, яркие огни — я совсем забыла, что Москва такая. Никогда не спящая, деятельная 24/7. Бритоголовый водитель в черном костюме открыл дверцу, выгрузил мой чемодан и улыбнулся на прощание:

— Надеюсь, вам здесь понравится.

«Конечно, понравится, — чуть не сказала я, — обожаю похороны».

Шикарный отель, просторный номер с видом на Арбат. Совсем не шумно.

— Шампанского?

— Нет, все-таки не по такому поводу!

— Доброй ночи!

— И вам.

Наконец одна. Нет, опять одна. Здесь слишком тихо. Я села на кровать и начала жалеть о том, что приехала. Слишком импульсивно, нетипично для меня. Улетела, даже не заглянув в рабочий календарь.

День выдался ужасный. Я слишком устала — хотелось лечь спать и пробудиться где-нибудь через неделю... А еще лучше не просыпаться никогда. Открыла чемодан, достала полупрозрачную сорочку на бретельках. Нет, это не одежда для сна, а униформа для секса. После встречи с Джоном у меня только такие. Рядом с ним я хотела быть красивой, молодой и веселой. Беспроблемной и оптимистичной. Шелк неприятно холодил — я озябла. Закуталась в махровый отельный халат и забралась под пухлое одеяло. Что я стану делать, когда вернусь? Одна в нашей холодной квартире, где все будет напоминать о Джоне, о его смехе, о горячих ароматных круассанах, которые он приносил по утрам? Нам было хорошо вместе. И больше никогда не будет...

Остановись, Лиза. Вспомни — ты здесь из-за Ба. Я включила телевизор. Какие-то шоу, веселье, новости. Все не то. Везде не то. Прежде всего в моей жизни.

Утром я позвонила и узнала, что похороны, оказывается, состоятся только завтра. Маша тоже прилетела и, что удивительно и неожиданно, уже взяла все заботы на себя, а мне лишь нужно поехать в квартиру на Ленинском, которую Ба завещала почему-то именно мне.

— Простая формальность, — уверил голос по телефону, — можно просто взять ключи и даже не заходить туда, если вам не хочется.

— «Да, мне не хочется», — внутренне согласилась я и тут же соврала этому голосу:

— Нет, что вы — это же моя бабушка.

Пока собиралась, в голову пришла крамольная мысль: интересно, что хуже — похороны Ба или встреча с Машей? Странно, что после стольких лет, что мы не виделись с Машей, у меня все еще так сильно болело. Ни похорон, ни встречи мне не хотелось, и я стала непроизвольно прокручивать малодушные варианты, на которые, я знала заранее, никогда не решусь: например, проспать, заболеть, срочно улететь обратно в Париж...

Мне всегда казалось, что Машино детство, в отличие от моего, было беззаботным и хорошо обустроенным. Счастливым. Из ее кратких рассказов становилось понятно, что Маша ни в чем не нуждалась, всегда была одета с иголкой — и это сразу-то после войны. Ба носилась с ней, как мне и не снилось. Хорошая московская школа. Балет. Блестящие преподаватели. Все это Маша бросила, как и многочисленное остальное, что без усилий возникало в ее жизни после. Маша была чемпионом по начинанию всевозможных дел, которые она оставляла дай бог на середине. Удивительно, как это мне удалось появиться на свет. Я, пожалуй, единственное ее доведенное до конца дело.

После школы Маша кое-как поступила в институт (а может, Ба ее пристроила. Так мне показало-

лось из намеков Машиных друзей). Конечно, ее отчислили. Где-то подрабатывала и, как только появилась возможность, выскочила замуж и эмигрировала в Израиль. Уже через год Маша развелась в первый раз. Больше я толком ничего не знала ни о ее жизни в Москве, ни о ее первом замужестве. Я — единственный поздний ребенок от, по-моему, третьего брака (отца с тех пор и след простыл — и я его где-то даже понимаю).

Маша так и не узнала о Джоне. Мы с ней уже лет десять не разговариваем.

Это случилось в разгар праздничного ужина в честь моего дня рождения. Маша постучала вилок по бокалу, встала и вдохновенно просветила моих друзей и коллег, какой она была чудесной матерью и каким ужасным ребенком была я. Как многим я ей обязана. Она, смеясь, вещала про испорченные мной сгоревшие кастрюли, про разбитые тарелки, про мой нелепый вечно непричесанный вид, про позорную балетную пачку, которую я сама себе смастерила. Все хохотали над ее историями — Маша была мастерица рассказывать. Я же говорила — дива. Никто и не понял, что все это были промахи предоставленного самому себе ребенка, о котором никто не заботился и который просто пытался выжить. Под конец Маша пожелала мне однажды стать прекрасной матерью и, подмигнув, припечатала: «ведь яйцеклетки не вечны, Лизок».

Та речь стала для меня последней каплей в наших непростых односторонних отношениях, где Маша бесконечно говорила только о себе, а я без усталости пыталась ее перекричать: «Посмотри на меня! Я здесь! Я тоже существую!» Что-то зачем-то доказывала ей: «Вот какую шикарную квартиру я купила — похвали меня. Меня повисили — скажи хоть что-нибудь!»

Мне кажется иногда, что все, что я в жизни делала, было для того, чтобы обратить на себя внимание Маши.

Так или иначе, теперь я способна говорить о Маше только в прошедшем времени — в кабинете моего психоаналитика. Больше я никогда и нигде не упоминаю, что у меня вообще есть мать. Может, это покажется жестоким, но для меня это единственная возможность не впасть в отчаяние.

Избавившись от морока, в который меня всегда вводят воспоминания о Маше, я вызвала такси и уже в дороге почувствовала, что проголодалась. Напрочь забыла о завтраке — слишком разволновалась с утра, а теперь желудок сводило. Надо было хотя бы перекусить, но, с другой стороны, хотелось поскорее разделаться с этим простым, казалось бы, делом: взять ключи. Больше сегодня можно ни о чем не думать — утешала себя я. Маленькое, ни к чему не обязывающее действие. Приехать, встретиться с человеком, которого я ни-

когда не увижу снова. Можно даже не отпустить такси. Сразу же отправиться на прогулку в Парк Горького, найти кафе, побродить по набережной. Все, что угодно, лишь бы не думать ни о Ба, ни о Джоне, ни о Маше, ни о Софии. Вообще ни о ком.

Как быть с квартирой, я не знала. Я вообще ничего не понимала в том, что делают в таких случаях. Нужно ехать к нотариусу и что-то оформлять? А потом? Продать как можно скорее? Но, как ни крути, все равно волокита — риелтор, бумаги, так или иначе придется возвращаться в Москву... Или может, бросить как есть, улететь и даже не вспоминать? Но и это не было выходом — вся моя бизнес-сущность противилась такому решению: а документы? А счета? А налоги? Я решила, что не буду об этом думать, по крайней мере сегодня.

И все же, чего, интересно, хотелось бы Ба? Мне подумалось, что, только побывав там, смогу принять правильное решение.

Сидя в такси, я пыталась вспомнить, какой же все-таки была Ба? Заботливой. Очень внимательной ко мне. Сейчас мой психолог, наверное, определил бы это как гиперопеку. Но что за этим стояло на самом деле? Только ли одиночество? И что было лучше для меня тогда? Гиперопека со стороны Ба или Машино равнодушие? Поздно, поздно рассуждать, Лиза...

Вспомнила свои десять лет, лето в Москве, беспринудное детство — и стало жалко себя. Подума-

ла: как ужасно, что рядом нет Джона. Ведь он обещал быть со мной и в горе, и в радости. У меня горе — и я совсем одна в чужой стране, никому не нужная. Я здесь из-за придуманного чувства долга, которого даже не ощущаю, если честно. Что я вообще здесь делаю? Черт, Джон, — это несправедливо!

Я осеклась: несправедливо и то, что ты, Лиза, тоже оказалась неготовой помогать другим в их горе. Не такая уж ты идеальная! Что бы ты из себя ни строила — твоя изнанка сплошь прогнившая. И теперь не только ты об этом знаешь. Голос в моей голове слабо возразил: нет, все не так — я старалась. Я сделала все, что могла, и даже больше.

И все же прошло уже несколько месяцев, но чувства вины и стыда никак не отпускают меня, не уходят, не превращаются в воспоминания, не притупляются. И наверное, так теперь будет всегда — до конца моей жизни я буду знать, что не справилась. Что предала. Что я сука.

История началась чуть больше года назад, когда умер Том, отец Джона. Тогда я сделала все возможное и невозможное, чтобы поддержать Джона, — здесь мне не в чем себя упрекнуть. Ездила с ним в больницу, когда стало очевидно, что дела плохи. Когда Тома не стало, взяла несколько дней на работе, чтобы побыть с Джоном. Следила за тем, чтобы он вовремя ел, достаточно спал. Взвалила на себя

все заботы по организации похорон (при наличии обеих жен Тома, бывшей и нынешней, в добром здравии).

Там, на похоронах, я впервые встретила мачеху Джона.

В самом начале наших отношений мы договорились с Джоном никогда не обсуждать наших родственников. Для обоих эта тема была болезненной. Никто из нас не хотел ковыряться в болячках друг друга.

Ахиллесовой пятой Джона был отец: Том на старости лет решил жениться на молоденькой маникюрше. Подробностей я не знала, догадывалась только, что развод был кровавым, потому что с «изменником» никто, кроме Джона, не общался. Даже на нашей свадьбе отец и мать Джона «не замечали» друг друга.

«Маникюрша», как мы втихую называли ее, помахала нам издалека как ни в чем не бывало, будто это были не похороны Тома, а какая-нибудь вечеринка, и подвела к нам белокурую девочку лет десяти. Я догадалась, что это сводная младшая сестра Джона, София.

Испуганная, потерянная. Маникюрша, не обращая на нее внимания, затараторила:

— Ну это... Привет, Джонни и... ах, да, ну... Лиза. Ну, пора нам наконец ну это... как следует познакомиться. При жизни твоего отца, Джонни, ну... пусть земля ему будет пухом, как говорится,

мы не общались. Том-то удивлялся: ну зачем вам знакомиться? Ну это... ты же знаешь, Том с твоей матерью так себе расстались. Это ... ну... она была против, не иначе... Ну а раз так, теперь... Коро-че... То и вот, дружок, ну... сестра твоя. Правда, ха... вылитый папочка?

Мне стало жалко девочку с заплаканными глазами. Всего десять лет, а уже потеряла отца. И мать такая у нее — нет слов — подумала я с сочувствием. Что-то в Софии отдаленно напомнило мне саму себя. Я узнала затравленный взгляд, жалкую полуулыбку, одежду не по возрасту, неподходящую для печального повода, но быстро отогнала эту мысль — мне было совсем не до девочки. Потом мы с Джоном, конечно, повздыхали, обсудили, как нам жаль Софию, но быстро оставили разговоры о ней — Джон переживал смерть отца, а я вернулась к работе и ежедневной рутине. А еще мне хотелось организовать путешествие, которое отвлекло бы нас от пережитого. Мне грезились пальмы и белоснежный песок Сен-Барта. Солнцезащитный крем и соломенная широкополая шляпа. Коктейли и закатное солнце. Комфорт, к которому мы привыкли.

Но нашим планам не суждено было сбыться — через месяц Джону позвонила социальная служба. Маникюрша оказалась алкоголичкой. Это стало для нас сюрпризом — Том никогда не говорил, что у него проблемы в новой семье. Нам рассказа-

ли, что и до смерти мужа маникюрша потихоньку попивала, а после совсем слетела с катушек. В тот день, когда она напилась и в очередной раз забыла забрать Софию из школы, вскрылось истинное положение дел. Софию спросили, кто у нее еще есть из родственников, и она назвала Джона.

Джон стал часто разговаривать с кем-то по телефону, куда-то ездить. А я... Я была слишком увлечена своей работой. Не замечала, что Джон сильно отдалился, вставал ночью и одиноко курил на кухне — утром я механически смахивала десяток окурков из пепельницы и продолжала выжимать свой апельсиновый сок. Теперь я себя за это презираю. Тогда же была уверена, что Джон переживает из-за смерти отца, и легкомысленно планировала наш долгожданный отпуск, не замечая очевидного, не потрудившись спросить, что происходит.

Однажды я вернулась с работы, Джон уже ждал меня дома. Он сам приготовил ужин — ягненка — и откупорил дорогое вино. Настроение у него было отличное, и я обрадовалась: наконец-то он снова стал самим собой. Мой Джон вернулся. Мы болтали, как это было прежде. Когда дошли до десерта, Джон загадочно улыбнулся и объявил, что у него для меня важная новость. И нет, дело касается не бизнеса, как я подумала: он решил получить опеку над Софией. Дальше было много слов: это его долг, по-другому он не может. Он поступил так, потому что уверен: я не могу быть против. Он гово-

рил так искренне, так убежденно, что у меня не хватило духу возразить. Слова витали над столом, я молча кивала и даже, кажется, улыбалась. Я жутко испугалась, что потеряю его. Сидела и думала: все что угодно, только люби меня, продолжай меня любить. В конце Джон добавил, что хочет, чтобы София жила с нами, буквально как наша дочь, учитывая их разницу в возрасте. После слова «дочь» меня накрыло окончательно. Дело было, конечно, не в девочке, которую я видела всего один раз, а именно в этом слове. Таким коротком, но таком болезненным для меня. Дочь. Я почувствовала себя в ловушке: из любви к Джону я должна была в одночасье стать матерью чужого ребенка. Перед глазами мгновенно пронеслись сцены моего потерянного бесприютного детства. Где я — никому не нужная дочь, а Маша — безразличная мать. Слова «дочь» и «мать» означали для меня боль и ничего другого. Став взрослой, я обходила стороной детские площадки, игнорировала все праздники с шарами и клоунами, куда меня зазывали друзья и коллеги. Я не завидовала. Мне было больно. Мучительно даже видеть детей. И вот Джон произнес «дочь». Мне показалось, что на меня рухнул по меньшей мере шкаф. Нас было двое. Мы были счастливы. Мы обо всем, как мне казалось, договорились и больше не обсуждали детей. Я храбро сражалась с демонами из детства и не спускала их на Джона. Мой хрупкий мир виделся мне таким

стабильным. Но все изменилось за одну секунду. Джон так решил. Решил, не спросив меня.

Я не знала, что делать. Запаниковала, но сказала... «да». Конечно, да. Ради Джона. Не посмела произнести даже шепотом «я не могу». Тогда бы он спросил «почему», и мне пришлось бы объяснять, рассказывать про себя и Машу, а это было выше моих сил. Джон, мой идеальный Джон, ничего не должен был знать о той части моей жизни. Она пройдена и забыта. Я смогла выжить и стать другой: успешной, умеющей наслаждаться жизнью. Именно такой меня и полюбил Джон.

В тот день я не могла себе представить, что хрупкая маленькая девочка способна разрушить наш брак.

Вскоре София появилась у нас в доме. Все произошло очень быстро. Слишком быстро. Джон убеждал меня, что каждый день, который она проводит не с нами, а в неблагоприятной обстановке, будет вычеркнут из ее жизни. Что мы должны бороться за каждое мгновение ее счастливого детства. Я молчала и ни разу не обмолвилась о своих страхах, которые буквально пожирали меня: я не справлюсь, я не готова и не хочу становиться матерью, я, черт возьми, боюсь этого чужого ребенка!

София выглядела ласковой и нежной девочкой. Не было заметно, что она только что потеряла отца, что ей пришлось разлучиться с матерью.

Сразу же, с первых дней она обнимала меня своими худенькими ручками и восхищалась мной: «Привет, Лиза! Какая же ты красивая! Когда вырасту, хочу стать такой же, как ты!» Я улыбалась, но с трудом боролась с раздражением. Она была чужой. Ее запах был запахом чужого человека, пусть и ребенка. София была всюду: следы апельсинового сока на столе, шоколадные отпечатки на обивке кресел, крошки от печенья на ковре. И игрушки, всюду игрушки, которыми ее заваливал Джон. Дело было не в вещах, конечно, — плевать на них, а в небрежности, с которой София относилась и к нам, и к заведенным нами порядкам. Она слушала, мило улыбалась, но продолжала сеять хаос везде, где ни появлялась. Я говорила себе: это адаптация, девочке нужно время, но сердце мое тревожно ныло от предчувствия, что никакое время ничего не решит, что я никогда не смогу ее принять.

Но Джон был счастлив. Он светился, когда София брала его за руку по пути в школу, когда они сидели рядом на диване и смеялись над какими-то комиксами. Она восхищалась им: «У тебя есть на меня время? Тебе правда не скучно?» Он говорил мне, что, засыпая, она бормотала: «Спасибо-спасибо-спасибо, Джон. Ты самый лучший в мире!»

Мы пытались жить так, как, по нашему представлению, должны жить счастливые семьи: катались на каруселях, смотрели детские фильмы,

уплетали мороженое. Джон радовался, словно вернулся в детство. И для меня это было главным.

Я изо всех сил подыгрывала им, но мое сердце, мое тело сопротивлялись. Сомнения и чувство вины сводили меня с ума, и я ничего не могла с этим поделать. Я не могла открыться Джону.

Однажды, еще в самом начале, я отвезла Софию в «Галери де Лафайет» и накупила ей кучу новой одежды, о которой только могла мечтать в своем детстве: платица в цветочек, плиссированные юбочки, мягкие пастельных тонов свитерочки, лакированные туфельки, розовый с крылатыми единорогами рюкзак. Все только лучшее — я не скупилась для девочки. На самом деле, конечно, для Джона — он должен был увидеть, как сильно я стараюсь. И это было искренне. Я все еще надеялась, что однажды во мне что-то перещелкнет и я смогу принять Софию.

Уже на выходе нам попался игрушечный белый пушистый кролик с розовым носиком-сердечком. Всех его собратьев расхватили, а он скучал, одинокий, на стойке, свесив ушки. Что-то трогательное было в нем, и я не смогла пройти мимо: «Смотри, какой милый кролик! Он хочет, чтобы ты его обняла и любила всегда-всегда». София тут же обвила его своими худенькими ручонками и спросила меня: «А ты тоже будешь любить меня всегда-всегда?» И я, улыбнувшись, соврала ей: «Конечно, да!»

С этого кролика все и началось. Вернее, кролик ознаменовал начало конца.

Однажды София пришла из школы не в духе. Что-то было не так. За ужином (а теперь мы с Джоном старались не задерживаться на работе — договорились больше времени проводить вместе) мы стали расспрашивать ее. София ковырялась в тарелке, дулась, долго молчала, а потом призналась: дело в телефоне, который подарили ее новой школьной подружке на день рождения. Я сказала: «Подарки — это здорово, особенно в день рождения, но у тебя уже есть телефон, да и твой день рождения еще не наступил». Но ей хотелось лучшего, последней модели, и прямо сейчас. Она проговорила все это капризным, незнакомым тоном. Словно это была другая девочка. Это испугало меня. Тем не менее мы оба безоговорочно ответили «нет».

В тот же вечер я нашла у нас в постели плюшевого кролика с распоротым брюшком.

Ни я, ни Джон не оказались готовы к тому, что было дальше. Да, мы читали про приемное родительство. Но нам казалось, что это не про нас, ведь София — особенная.

Не хочется и вспоминать... Истерики, украденные из кошелька деньги, порезанные вещи — мои и Джона, початые бутылки виски в баре, и, наконец, София сбежала. Мы вызвали полицию и искали ее два дня, пока не нашли в сосед-

ском гараже, куда она отнесла спальный мешок, предварительно запасшись едой. София методично, день за днем, изводила нас. Это длилось месяцами. Ангелочек превратился в демона. Конечно, были примирения, проблески надежды, снова срывы. Постепенно каждый совместный ужин и выходные превратились в пытку — и я стала задерживаться на работе. Джон ходил с вымученной улыбкой и говорил мне: «Все наладится, вот увидишь — это временно, она привыкнет». А я молчала в ответ, хотя мне хотелось ответить: «Я так и знала! Я чувствовала! Ей не удалось обмануть меня!»

Джон искал помощи у психологов: «Спасите! Давайте все починим как можно скорее — и пусть все станет так, как прежде». Мы ходили на эти встречи, где нам рассказывали, как София страдает, говорили о терпении, о сочувствии. О ее травме. Оказалось, что маникюрша сообщила ей точную дату, когда вернется за ней, и приказала не привыкать к нам. София очень скучала по матери, но, боясь расстроить нас, каждый день тайно звонила ей. Хотя мы никогда не запрещали ей этого. Было много разговоров всех со всеми, обещаний постараться и потерпеть. Но я чувствовала: как раньше уже не будет. Однажды Джон тоже перестал убеждать меня, что все наладится. Он сам больше не верил в это. Чем больше гадостей делала София, тем более

виноватым и отстраненным становился Джон. А я, как всегда, молчала, хотя все во мне просто вопило: это была глупая идея, Джон! Ты должен был спросить меня.

Нам начали звонить с претензиями из школы. Наконец Джона остановила мать той одноклассницы с телефоном: София украла его и расколотила — это сняли школьные камеры наблюдения.

И тогда я произнесла это: школа-интернат. В тот вечер София была дома с няней. Мы с Джоном оба к тому времени подсели на антидепрессанты, задерживались на работе или ходили на ужины с коллегами, лишь бы не возвращаться домой. Мы почти перестали видеться. Няня вместо одного вечера в неделю, как планировалось изначально (вечер романтических свиданий, чтобы мы могли побыть с Джоном вдвоем), приходила к нам каждый день.

Я пригласила Джона на ужин. Разговор не шел. Мы молча сидели с постными минами и ждали закрытия ресторана. Я сказала:

— Так не может продолжаться. Ей там будет хорошо — отличные условия, внимательные учителя и психологи, которые, в отличие от нас, знают, что делать. Мы будем забирать ее на каникулы, если она сама захочет. Очевидно, так будет лучше для всех.

Я ожидала, что Джон будет спорить, возмутится, закричит, будет предлагать какие-то другие решения. Но он виновато посмотрел на меня и согласился. Больше мы ничего не обсуждали. Через неделю отвезли Софию в интернат. Она не плакала, не расспрашивала нас ни о чем — будто ничего не случилось. Будто так и должно было быть.

Я убрала с глаз игрушки, все, что напоминало о Софии. Перестала заходить в ее комнату, которую мы к ее приезду перекрасили в розовый. Мне не было радостно от того, что она уехала. Мне было больно, я чувствовала себя виноватой. Да что там — настоящей сукой.

Мы наконец съездили в отпуск на Сен-Барт, как планировали. Но ничего не стало как прежде. Между мной и Джоном пролегла глубокая трещина, и я ничего не могла изменить, как ни старалась. Джон ушел. Чувство вины уничтожило его. Я превратилась в сообщницу, свидетельницу его падения и лишнее напоминание. Впрочем, это моя догадка — мы так и не смогли объясниться. Впервые в жизни.

Мои мысли прервались — такси подъехало к Ленинскому. Этот дом я запомнила точно таким же: сталинский, цвета разбавленной охры, с арочными балконами. Посмотрела в заметках телефона подъезд, код, этаж. Ключ мне дал какой-то бабушкин знакомый, который ждал внизу на скамейке.

Сказал, пристально глядя мне в глаза, что бабушка умерла в больнице. Я неловко поехала. Да, действительно, мне было бы тяжелей идти туда, где она умерла.

Я отвыкла от советских домов. В подъездах всегда стоял какой-то особенный запах. Излишне личный, еды и лекарств, старой мебели. Я без труда открыла обитую коричневым потертым дерматином дверь и вошла. Было темно — шторы были задернуты. Как траурно и печально. Я инстинктивно поморщилась, опасаясь старушечьих запахов. Но в квартире было свежо, хоть и немного пустовато. В спальне ютилась аккуратно застеленная клетчатым покрывалом узкая кровать, в углу стояла тумбочка с тремя зеркалами, кажется, Ба называла это трельяж, большой старомодный платяной шкаф с потускневшим зеркалом был здесь главным. Большую часть гостиной занимал диван, покрытый пушистым полосатым покрывалом. Я вспомнила это покрывало. Я любила валяться на нем, когда Ба читала мне сказку «Дикие лебеди». Я была уже слишком взрослой для сказок вслух, но мне почему-то нравилась эта история про онемевшую Элизу.

На тумбочке поблескивал экраном допотопный телевизор. Книжные полки — Ба, хоть и не получившая высшего образования, любила читать. Печатная машинка на столе. Никаких мелочей. Фотографии — моя и Маши. Обе мы на них школьницы. Стопка на-

ших поздравительных открыток, перевязанная лентой. Как стыдно — их могло быть и побольше.

Я прошла на кухню. Такая же нежилая, как и вся остальная квартира. Интересно, Ба готовилась к моему приходу? Специально распорядилась выбросить все лишнее, чтобы мне не пришлось возиться? Глупо, Лиза, она столько лет прожила с сиделкой.

На видном месте, на столе, лежала пухлая папка неопределенного цвета, перевязанная аккуратной бечевкой. На папке от руки было выведено «Лизе» и дата — десять лет назад.

Хм. Фотографии? Документы? Старческие мемуары?

Открыв папку, я ужаснулась количеству печатных листов. Сколько же она их писала? И еще кольнуло: сколько же я их буду читать?

Здесь же было две фотографии, которых я никогда не видела. На первой была запечатлена девочка-подросток, лет, как мне показалось, тринадцати. Темноволосая, с длинной тяжелой косой через плечо. Широкая атласная лента, завязанная в бант. Щечки с ямочками. Кокетливый взгляд из-под длинных ресниц. Эта девочка была явно высокого о себе мнения. Я с трудом узнала в ней юную Ба. На обратной стороне стояла дата — 1938 год. На второй фотокарточке тоже была Ба, но уже совсем другая. Неудачно уложенные волосы до плеч, огромные запавшие глаза. Ни улыбки, ни само-

довольства. И совсем другой взгляд. Взгляд взрослого, повидавшего жизнь человека. Я перевернула фотографию — 1946 год. Значит, Ба здесь всего лишь двадцать один год. Что же случилось с ней? Что так сильно изменило ее?

Мне захотелось поскорей избавиться от всех формальностей и отправиться завтракать.

Я решила, что прочту пару листов, стала вспоминать, кто из моих бизнес-знакомых сейчас в Москве, и начала читать:

«Дорогая Лиза,

Мы не были с тобой близки — так уж сложилась жизнь, ничего уж не поделаться... Так захотела Маша, а я не посмела возражать — все-таки она твоя мать, и она решала, как тебе, ребенку, жить и с кем общаться. Мы с ней не смогли понять друг друга ни в этом вопросе, ни во многих других. Сейчас я, конечно, жалею. Сильно жалею. Часто вспоминаю то лето, когда ты приезжала. Это, наверное, последнее мое приятное воспоминание.

Сколько мне осталось — никто не знает. Память уже начала подводить меня. Поэтому я решила рассказать тебе о своей жизни, пока еще способна. Моя жизнь не была выдающейся, и я не хочу «оставить след», как говорится. Я хотела бы одного: чтобы ты меня поняла. Не простила даже, а поняла. Да, мне нужно объясниться перед тобой. Ведь все, что со мной произошло, так или иначе повлияло

и на Машину жизнь, и на твою. Может, я надеюсь на это, мой рассказ что-то для тебя поменяет. А не захочешь читать старухины бредни — выбросишь, мне уже будет все равно.

Поначалу мне было очень трудно полюбить ее, Машу. Она была такая маленькая, крикливая и совсем некрасивая. Я радовалась, когда кто-то брал ее у меня, качал, пел колыбельные. Не умела этого, ведь я была совсем молодой, когда она родилась, — всего восемнадцать лет. Не интересовалась маленькими детьми — они меня не умиляли, скорей пугали. Помню, зашли с матерью к кому-то, а там был маленький ребенок. Мне сказали: побудь с ним — и ушли. Подошла к кроватке — ребенок сидел и играл погремушкой. Мне почему-то захотелось уложить его: ребенок — значит, пусть спит, а я буду его нянькой. Большой такой был, лобастый мальчик. Уложила его — он тут же поднялся, я снова уложила — он опять поднялся. Как ванька-встанька. Испугался, стал плакать, кричать, покраснел весь. Я поняла, что не знаю, что с ним делать, — совсем была беспомощна. Так и с Машей. Долгое время не знала, что делать, как утешить, как кормить. Страшно признаться — хотела отдать ее кому-то, кто лучше смог бы позаботиться о ней, но не смогла. Память о Розе не дала мне этого сделать. Ты не знаешь, кто это, а ведь в честь нее тебя могли назвать Розой — я просила Машу.

Я не говорила Маше о ее рождении и первых годах жизни — ведь сказать правду было не так-то просто, сложно и сейчас. Ты поймешь почему. Теперь, когда я уже ветхая старуха, когда умерли все свидетели произошедшего, могу наконец позволить себе быть откровенной. Да и если не сейчас, то уж никогда.

Начну с тех событий, с которых, мне кажется, все в моей жизни закрутилось не в ту сторону. С рождения мне, думаю, была предначертана совсем другая судьба: беззаботная, счастливая. Но вот так по крупинкам, опрометчивыми необдуманными поступками я изменила ее.

Надеюсь, ты не осудишь меня. Мне хочется думать, что нет. Я много ошибалась и сама пострадала от этого. И только я сама знаю, каково это было.

Благословляю тебя. Будь счастлива, Лиза.

Нина Трофимова

Твоя Бабушка»